

У памятника Чехову.

I.

Я живу в Баденвейлере, немецком курорте, который для нас, русских, неразрывно связан с именем Чехова. Много здесь напоминает о нем. Вот отель, в котором Чехов провел последние недели своей жизни. Здесь он и скончался. Вот балюстрада, с которой Чехов наблюдал маленьким улички курорта и безпрерывный приток посетителей к дверям местного почтамта. В одном писем Чехов отметил, что зрелище этого бесостановочного движения порождает баденвейлерский почтамт — водило для размышления о повышении уровня немецкой культуры. Проходя по главной аллее курорта, замечаешь на одном из пригородных бульваров бронзовый бюст. Это — памятник Чехову, воздвигнутый местными властями при участии русских посетителей курорта. Памятник поставлен на превосходном месте: с горной вершины он прямо смотрит на грандиозную панораму долины Рейна и на вырисовывающиеся на горизонте Вогезы. Но сам по себе памятник очень неудачен. Изображение лица на бюсте несколько не напоминает Чехова; ваятель придал этому изображению чуждые Чехову черты инстинктивного типа. И все-же самая мысль украсить немецкий курорт бюстом русского писателя заслуживает живой признательности. Сидя на скамье близ бюста, я вижу, как проходящие мимо люди с интересом и симпатией рассматривают бюст и говорят друг другу: «Russischer Dichter!».

Я сижу близ чеховского памятника, и мысли неотступно возвращаются к почившему здесь писателю. Вспоминается его образ, вставший во воображении его героев, приходит на ум все то, что было написано истолкователями его произведений. И поднимается вопрос: удалось ли нам проникнуть в основную тайну его творчества, удалось ли нам понять как следует все-таки нашего любимого писателя?

Я не решился бы утвердительно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что и после всего сказанного уже в печати о Чехове коренные элементы его творчества еще не вскрыты со всей отчетливостью критическим анализом. Мне хочется высказать здесь

несколько соображений, которые приходят мне на мысль каждый раз, когда я раскрываю любое из произведений Чехова. Литературная критика всегда усиленно подчеркивала дробление творчества Чехова на слишком несходные периоды. Резкой чертой отделяли Чехова от Чехонте. В переход от юмористических рассказов, дышащих беззаботным весельем, к скорбным повествованиям о «хмурых людях» виден полный переворот во всем строе литературного творчества Чехова. В «хмуром» периоде его литературной деятельности мы свою очередь усматривали внезапный перелом. Вплоть до появления «Палаты № 6» и последующих за ней рассказов Михайловский считал Чехова беспринципным пессимистом, воспроизводящим своими талантливыми пером чистые случайные отрывки жизни без всякой центральной общей идеи, которая освещала бы их внутренний смысл. И лишь за последний период его творчества в Чехове все без исключения признали поэта определенной идеи. Скорбь не отсутствующему в жизни людских масс идеалу была признана центральной, движущей стихией поэзии Чехова. Так выходило, что Чехов как-будто весь состоял из отрывочных кусочков, которые попеременно выступали в его писательской деятельности без видимой между собой связи, или, иначе, развитие его творчества представляли собой как ряд внезапных катастроф, каждый раз до неузнаваемости изменявших литературный облик писателя.

Правильно ли однако это представление о развитии на творчество Чехова? Я думаю, что неправильно, и постараюсь доказать это. Конечно, Чехов не стоял на месте. Его талант последовательно развивался, и в его душе с годами открывались новые родники поэзии. Углублялось его общее отношение к жизненным явлениям. Только развитие это совершалось вовсе не скачкообразными скачками, как нередко утверждается, а постепенно, устойчивым, планомерным характером. Резко менялись лишь внешние краски его творчества. Но это разнообразие форм прикрывало собою очень глубокое единство общего жизненного понимания, которое с годами лишь отчетливее раскрывалось и углублялось, а вовсе не перевертывалось вверх дном. Менялись настроения поэта, но отнюдь не основы его жизненной философии. Сначала он смился. По-

том смех сменился грустью. И, наконец, грусть перешла в скорбь. Конечно, все это — совершенно различные фазы его душевной жизни. Но разве в них нет ничего связующего, единого? Ведь в этой смене настроений при всей ее радикальности были свои пределы, которые как-раз и закрепили от единства мировоззрения писателя. Забудьте пожалуйста: даже в годы наиболее выпуклого расцвета чеховского смеха этот смех хотя и граничил порой с безотчетным весельем, но никогда не переходил в беззаботную смешливость. Это не джеромовский «смех для смеха»; в веселых карикатурах «Пестрых рассказов» под покровом шутки непрерывно ведется тонкий анализ движений человеческой души; а где анализ вступил в свои права, там уже нет места беззаботным радостям, и при внимательном чтении рассказов Антоны Чехонте вы не раз откроете в складках смеха лица веселого поэта морщинку раздумья. Правда, эту морщинку надо уметь разглядеть, она всегда тщательно спрятана, но я еще буду иметь случай говорить о том, что Чехов вообще отличался склонностью припрятывать от посторонних взоров глубочайшие процессы своей душевной работы. Если смех Чехова никогда не бывал вполне беззаботным, то, с другой стороны, его грусть и даже его скорбь, никогда не носили на себе печати отчаяния. Даже в пьесах Чехова, где он дает наибольший простор выражению мрачного настроения, всегда где-то теплится надежда, хотя бы и относимая в определенную даль далекого будущего. При таких пределах пережитая Чеховым смена душевных настроений не исключала возможности единого целостного мировоззрения во все периоды его творчества. Невозможно то likовать, то отчаяться, не изменив в корень своего отношения к жизни. По смеху без ликования и грусть без отчаяния вполне могут сменять друг друга на почве одной и той же жизненной философии. Так именно и было с нашим писателем.

II.

Чехонте и Чехов на первый взгляд так же чужды друг другу, как карнавал и панихида. Но на самом деле между ними существует лишь чисто внешнее различие. Веселые рассказы Чехонте и скорбные алегории Чехова написаны на одну и ту же тему. (И

и другая выросли из наблюдений над одной и той же стороной жизни, которую Чехов всегда считал основной стихией человеческого существования. В сущности все произведения Чехова от начала и до конца его литературной деятельности представляют собой в совокупности одну большую книгу, посвященную одному сюжету. Это — книга о *нелюбви* и *безтолковости* *междучеловеческих отношений*. Совершенно ясно, что разработка этой глубокой темы может предоставить одинаковый простор и для смеха, и для скорби. Когда нелюбимая безтолковость человеческих отношений разбивается в легкие и комические недоразумения, тогда является материал для «Пестрых рассказов», столь ярко расцвеченных у Чехова блестящими его юмора. Но ведь та же самая нелюбимая безтолковость человеческих отношений нередко панораме людей глубокие раны в самые близкие точки их душевной организации и безжалостно губит жизнь прекрасных человеческих существ. И вот почему то же перо, которое рассыпало перед читателями столько нежирных зарисовок смеха, затвисть развернуло перед нами такую скорбную картину безжалостно-мрачных душевных страданий. Не очевидно ли однако, что смена настроений писателя вовсе не вытекала в этом случае из перемены его общего воззрения на жизнь? И в смехе, и в печали он оставался верен одной и той же жизненной концепции.

Михайловский некогда упрекал Чехова в отсутствии обобщающего освещения жизни на том основании, что в рассказах Чехова действительность раздробляется на какие-то отрывочные и бессвязные кусочки, в которых важное и мелочное равноправно становится рядом перед глазами художника. Но ведь в этом-то и состоит как раз совершенно определенный взгляд Чехова на жизнь, не как она должна быть, а какой она является на самом деле. Жизнь не идеальная, а действительная, по Чехову, — отрывочна, бессвязна, нелюбима. ^{9/10} человеческого существования проходит в бессмысленном прозябаньи, в котором не найдешь того, что нужно было бы назвать «богом живого человека». А когда между людьми начинают зарождаться простыя, искренния, задушевные отношения, они сплошь и рядом коверкаются и заглаживаются либо нелюбовью, либо предвзвешенными предубеждениями.

и вытисненными условиями, либо неспособностью людей чутко воспринимать взаимные влечения. И так, бездельно и безплодно рушится человеческое счастье. Все эти уродливости человеческого существования Чехов любил обозначать одним словом: «наша жизнь не изящна». Значит ли все это, что люди в большинстве своем неспособны отталкивающих пороков? Нет, дело не в этом. — Чехов, наоборот, любил изображать общество людей очень хороших, добрых и милых, из взаимных отношений которых не выходящая однако ничего путного. Просто люди не умеют изящно устроить свою жизнь, и в этом, по Чехову, состоит главный корень многочисленных человеческих страданий. Вот руководящая идея, объединяющая все творчество Чехова от начала и до конца, от «Пестрых рассказов» и до «Трех сестер» и «Вишневого сада». Как можно было жить с таким взглядом на людей и на условия их существования, не превратившись в то же время в мрачного мизантропа? Вот самый важный вопрос, от разрешения которого зависит понимание основного перла всей писательской деятельности Чехова.

III.

Мне случалось дважды видеть Чехова и подолгу беседовать с ним. Один раз — в Москве, в редакции «Русской Мысли», другой раз — в Ялте, в его доме. При личном общении он производил потрясающее впечатление простотой своего обращения. Говорил он медленно и внятно. Казалось, что каждая фраза, им сказанная, предварительно мысленно произносилась им про себя. Но эта манера не вносила в беседу никакой отвлеченности. Время от времени его серьезное и сосредоточенное лицо вдруг озарялось такой приветливой и доброй улыбкой, которая сразу располагала его собеседника к самой непринужденной доверчивости. Чувствовалось, что этот человек способен в одно и то же время искренно любить людей и так же от них про себя как-то наиболее заветных свои думы и переживания. Кажется, эти личные мои впечатления совпадают до известной степени с впечатлениями людей, знавших Чехова гораздо ближе, нежели я. В печатных воспоминаниях о Чехове его друзей проскальзывали указания на то, что при самых интимных приятельских отношениях Чехов все-же все-

гда сохранял некоторую раздельную черту между друзьями и внутренним миром своей души. Осторожно и вдумчиво проходил свой жизненный путь, Чехов неизменно сохранял по отношению ко всем людям позицию благожелательного наблюдателя. Думаю, что совершенно так же относился он и к своим героям к процессу своего художественного творчества. Пессимистический взгляд на жизнь не сдвигал из него ни мрачного мизантропа, ни гнившего обличителя. Он подходил к своим будням действительно без всяких иллюзий и отходил от них без гнева и отчаяния, а лишь с тихой грустью много переживавшего скептика. Он относился к духовной жизни людей как естествоиспытатель, как врач. Языки и пошлости жизни его не пугали. Внимательное изучение их он считал прямой задачей художника. Чуждый фанатической нетерпимости и прямолинейной идеологии, он разглядывал людей и их жизнь сквозь призму своего изящного вдохновения, стремился лишь к одному — понять и *пожалеть*... Да, именно пожалеть. Ведь жалость как раз и есть то самое чувство, которое получается из столь характерного для Чехова соединения любви к людям и склонности к самостоятельному обособлению от них, в независимом духовном уединении. Иначе говоря, Чехов относился к людям и в частности к своим героям не как грозный судья и обличитель к заблудившимся грешникам и не как воснигающий к неразумным и духовно несовершенным существам, а как умный и гуманный врач относится к своим больным. Чехов недаром начал с медицины и потом перешел к литературе. Я думаю, что по свойствам своей натуры он был призван врач. Говоря так, я разумею не мастерство самой лечебной техники, а умение обойтись с больным в смысле нехищнического на него воздействия. Это умение Чехов перенес и на свое отношение к жизни вообще. Со всеми без исключения он обращался как с больными, ибо в его представлении в сущности все люди больны, все человечество больно. С этой точки зрения все становится совершенно понятным в творчестве Чехова. Понятным становится соединение безстрашного и ничуть не подделанного пессимизма с любовью к людям. Это как-раз психология врача, окруженного страждущими. Вхо-

дя в больницу палату, врач заранее знает, что он не встретит там здоровья и счастья. Но ведь он идет туда не обличать, а помогать. Гуманный врач, прописывая и давая лекарства, жалость своих пациентов и стремится ободрить их, проявляя некрепкое участие к их судьбе. Но это — участие особого рода. Оно неотделимо от известного отблеска авторитетного покровительства. По самому своему статусу задачи своей деятельности врач не может безраздельно отдаваться своим чувствам. Он всегда должен сдерживаться, должен контролировать действие своего обращения с пациентом на состояние его духа. Это полугасть раздельную грань между его собственным душевным миром и теми, с кем он общается. Работая с пациентами и жалая их, врач во имя этих самых забот не становится с ними на одну доску, смотрит на них, так сказать, сверху вниз, как онекуны на опасаемых. Все эти элементы отличали как-раз отношение Чехова к людям, поскольку оно отнеслось на его художественных произведениях. Его герои представляют собой собрание жалких, безвольных, добродушно измывавшихся в бездельном прозябаньи, слабых людей. Чехов осуждает их существование и противопоставляет ему новую идеальную, «изящную» жизнь. Но Чехов не пессимист-мизантроп; он — *пессимист-филантроп*. И он не столько обличает, сколько *жалует* их. Ведь в его глазах они — просто на просто больные общими болезнями человечества. Выздоровеет ли когда-нибудь это большое человечество? Чехов верит в возможность выздоровления. Но, будучи врачем, легкого самообольщения, он относит эту возможность к неопределимому далекому будущему. Когда-нибудь настанет «изящная» жизнь, и «мы отдохнем» и «увидим небо в алмазах» вместо пудрых сумерек сегодняшнего дня. А пока нужно жалеть друг друга.

С этими думами и с этой верой Чехов на вечер закрыл глаза среди зеленых гор Шварцвальда. Он умер, и на земле стало меньше одним из тех редких людей, которые умеют любить человечество, не идеализируя его; а отдавая себя самым ясным отчет во всем неприглядных сторонах человеческой природы.

А. Кизеветтер.